

## ПанОптикум "МАКДОНАЛЬДС": кулинария и власть

Раньше вкусная и здоровая пища была доступна только богатым людям, а теперь – всем трудящимся.

А. Микоян

Все, что съедается, является предметом власти.

Э. Канетти

В своей книге *Надзирать и наказывать* М. Фуко для прояснения специфической функции "технологий власти" использует образ паноптикона Бенгта — архитектурной конструкции, наглядно демонстрирующей всепроникающий характер надзирающей и дисциплинирующей власти. Принцип организации паноптикона несложен: в центре внутреннего пространства кольцеобразного здания находится вышка, увенчанная смотровой кабиной. Кольцевое здание разделено на камеры, каждая из которых одной стороной выходит на внешнюю поверхность кольца, другой — на внутреннюю, то есть во "двор". Тем самым пространство камеры занимает всю толщину здания между двумя прозрачными стенами — перегородками, одна из которых выходит внутрь, открывая доступ наблюдению с вышки, а другая — наружу, пропуская свет и обрисовывая силуэт находящегося в ней заключенного таким образом, что надзиратель из кабины вышки видит его совершенно отчетливо.

"Достаточно поместить в башню одного надзирателя, а в каждую камеру посадить по одному умалишенному, больному, осужденному, рабочему или школьнику. Благодаря эффекту расположения против света из башни можно видеть четко вырисовывающиеся на свету малюсенькие фигуры — пленицы камер периферийного здания. Сколько камер — столько клеток, театриков одного актера, причем каждый актер — абсолютно индивидуализированный и постоянно видимый. Паноптическое устройство — это пространственные единицы, позволяющие непрерывно видеть и немедленно распознавать. Короче говоря, принцип, обратный принципу застенка. Точнее, из трех функций карцера (зачотать, лишать света и скрывать) сохраняется лишь первая, а две другие устраняются. Полный свет и взгляд надзирателя улавливают куда лучше, чем тьма (в конечном счете защищаясь). Видимость есть ловушка" (9, 53—54).

Особенность данной конструкции проявляется в том, что привести ее в действие может практически любой, даже случайно выбранный индивид, тем самым "автоматизируя" власть и лишая ее индивидуальной специфики, превращая ее в безличный, механизированный агрегат — "МАШИНУ ВЛАСТИ". Поэтому "Фуко видит в этом проекте Бенгта своего рода идеальную модель (в веберовском понимании этого понятия) организации дисциплинарного, технологического пространства власти" (5, 74). Однако это не означает, что данный проект является чисто умозрительным и всякая попытка реализовать его на практике обречена на провал. Возможность убедиться в обратном и подтвердить возможность осуществления "утопии" на уровне повседневности автор этих строк получил при посещении ресторана "МакДональдс" (в дальнейшем — "М") на Привокзальной площади города-героя Минска.

Трехэтажный комплекс "М" представляет собой здание в форме треугольника, своей вершиной направленного во внутренний двор Белгосунiversитета, а полукругом основания — непосредственно на площадь железнодорожного вокзала (в дальнейшем — "Ж"). Помещение ресторана занимает нижний этаж, стеклянный фасад которого делает доступным обзору снаружи, со стороны "Ж", все внутреннее пространство "М", за исключением служебных помещений, вход в которые расположен с двух сторон по краям зала. По меньшей мере пятьдесят столиков расставлены здесь таким образом, что случайное (на первый взгляд) их расположение подчиняется определенному порядку: они составляют ряды, проходы между которыми позволяют пройти только ОДНОМУ человеку (остальные вынуждены идти у него за спиной), причем строго ВООД ряд, но не СКВОЗЬ него. Кроме того, при всем желании невозможно, сидя за одним столиком, дотянуться рукой или ногой до другого. Благодаря этому внутреннее пространство "М" организовано так, чтобы упорядочить движение посетителей по проходам, не допуская, насколько это возможно, пересечения ими некой невидимой черты. Эта черта служит линией границы между рядами столиков, отделяя один от другого, а также расчлняя общий поток массы людей на отдельные группы и помещая их в соответствующие участки-сегменты зала. Именно эти сегменты или секторы и наполняющие их тела отдельных людей или групп наиболее успешно поддаются визуальному контролю. Такой контроль осуществляется посредством видеокамер, помещенных снаружи, за специально спроектированной для этой цели балкой—"козырьком", идущей по периметру вдоль всей прозрачной стены фасада. Камеры замаскированы таким образом, что извне, со стороны "Ж", увидеть их невозможно; те же, кто сидит в "М", могут лишь случайно заметить направленные на них объективы. Любой сектор и любой находящийся в нем столик оказываются в зоне прямого наблюдения, причем каждому из секторов соответствует своя, отдельно взятая камера: семь секторов — семь камер. Всюкий, кто садится за столик, сразу попадает в камеру. Чем не идеальная тюрьма?

Здесь дистанция между рядами и телами контролируется визуально: направление ВЗГЛЯДА очерчивает контуры ТЕЛА (индивидуального и группового), поддерживает границы его поверхности и следит за стабильностью его объема. Доступа в "М" лишены слишком большие группы, равно как и чересчур тучные субъекты, которые попросту не втиснутся в узкие кресла. При этом, судя по количеству мест за столиками, объем тела группы не должен превышать десяти-пятнадцати человек, но никогда не ограничен только одним посетителем. Это не является следствием непосредственной близости "М" и "Ж", но отражает стратегическую политику "М" как "ресторана для всей семьи". Поэтому здесь удобнее делиться с друзьями, чем закусывать самому. "Общак"-коллектив победил "эгоистично"-одиночку, но этот вариант все же заметно отличается от уравниловки "казарменного коммунизма". Вместо идеологической принадлежности к одной партии или нации, отдающей душком "пивного пучка", здесь предлагается инициативная, кровно-родственная связь внутри семейного клана, объединенного в патронажную и матримонимальную систему "групп по интересам" (профессиональным, возрастным, семейным и т. д.). И именно в таком виде реализация "утопического" проекта тюрьмы Бенгта, неуспеваемость которого была столь очевидна для Фуко, стала

возможной при проектировании и строительстве ресторана “М” в Минске; экспансия западных кулинарных технологий привела к передаче на нашу почву и тамошних технологов власти, а также их дальнейшей ассимиляции, когда одно уже невозможно отделить от другого.

Возможно, именно это вызвало столь бурное негодование у эмигрантов “третьей волны”, которые неожиданно встретили в штыки вторжение западной культуры еды на территорию тогда еще Советского Союза: “Теперь на прилавках появилось многое из того, что казалось потерянным навсегда. Зато пропало другое. Пропала простая пища для простых людей. Сплошные деликатесы, от которых уже тошнит. Пропала и советская культура еды, исчезли столовые и кафешки. Вместо них – быстро и рестораны, в которых всякие бигмаки, гамбургеры, чисбургеры и кавиарбургеры, ножи от импортных кур и кисель из киви” (7, 8). Соответственно и тональность высказываний становится откровенно враждебной по отношению к “кулинарной агрессии” Запада: “Понастроили в Москве и других городах Макдональдсов, окучивают наш народ мусорной и безвкусной едой, превращают страну в пищеварительную колонию Запада...” (7, 92).

Конечно, столь резкое неприятие “американской” кухни может быть вызвано и вполне банальной причиной: в ассортименте “М” нет отдельных мясных блюд. А ведь именно горячей любовью к мясу можно объяснить, например, следующий пассаж: “Когда Солженицын выдал свой знаменитый призыв “ЖИТЬ НЕ ПО АЖИ”, он, возможно, даже не представлял со всей отчетливостью – насколько проникла ложь во все поры советского общества, до основания разведая народный организм. Вопиющие примеры обмана существуют и в такой важной сфере человеческой деятельности, как еда... Вершины лицемерия и вероломства официальная ложь достигла в названии “фальшивый заяц” (...), в котором фальшивым было все: от имени до причисления к славному отряду мясных изделий” (2, 149–150). Даже отказавшись от родины, эмигрант сохраняет чувство верности по отношению к ней благодаря сохранившимся гастрономическим привязанностям: “В целом кулинарные традиции оказались куда крепче, чем все прочие нити, связывающие нас с родиной. Эмигрант еще может поменять *Кампанскую* дочку на книгу *Работни секса*, но никакой хот-дог не заменит ему чесночную колбасу” (2, 145).

Может быть, именно здесь зарыта собака (причем горячая, как в “хот-доге”)? Ведь “колбаса в России (как и в Беларуси. – А. С.) – нечто большее, чем просто мясной продукт(...) Подобно тому, как поэт в России – больше, чем поэт, колбаса здесь – больше, чем колбаса, она занимает совершенно особое место в менталитете, мировосприятии и жизнеустройстве нашего общества” (5, 5). “Колбаса в России (и у нас? – А. С.) – это выражение духовной сущности российского населения (...) и, более того, единственное универсальное средство связи между упомянутым населением и властью” (5, 6). Такие избыточные, казалось бы, символические и коммуникативные функции колбасы, выражающей единство помыслов всех слоев населения, возникают в связи с тем, что она есть “своего рода инобытие власти, символ ее деспотности, знак действующей государственности” (5, 9). Поэтому любые манипуляции с колбасой в области кулинарной и гастрономической политики автоматически приобретают сакрализованный, ритуальный характер. “Столь

же ритуальный характер носило гиперпотребление колбасных изделий высшими слоями партийной номенклатуры и созданная исключительно для обеспечения этой символической процедуры инфраструктура: разного рода спецсовхозы, спеццеха, спецраспределители, спецбуфеты.

Вспоминая символические акты и процедуры архаических обществ, можно было бы подобрать сверхпотребление (как по количеству, так и по ассортименту) колбасных изделий партийно-государственными иерархиями всех уровней обычаю поедать печень, сердце и прочие органы священных животных, а то и победителей на поле брани врагов” (5, 11). К этому мотиву каннибализма мы еще вернемся позднее, а пока лишь отметим: именно желанием остаться причисленным к священному продукту можно объяснить и негодование современного отечественного потребителя, когда он обнаруживает, что “на пути к этой вожделенной колбасе стоит хищная сеть американского общепита. И если в России поход в ресторан – торжественное мероприятие, то здесь (то есть в Америке. – А. С.) – суровые будни, облегчающие быт, но оскоряющие душу” (2, 145).

И тут прямо-таки напрашивается вывод: для эмигрантов еда – это не столько “праздник тела”, сколько пресловутое “отдохновение души”, когда самая вкусная пища не поглощается в одиночестве, но требует общения в кругу друзей, соратников и единомышленников. Такого рода представления словно воскрешают пиришественные образы Ф. Рабле в трактовке М. Бахтина, который считал, что “образы еды, питья, поглощения непосредственно связаны с народно-праздничными формами (...) Ведь это вовсе не будничная, не частно-бытовая еда и питье индивидуальных людей. Это – народно-праздничная пиришественная еда, в пределе – “ПИР НА ВЕСЬ МИР” (1, 307). При этом “пиришественные образы органически сочетаются со всеми другими народно-праздничными образами. Пир – обязательный момент во всяком народно-праздничном веселье. Без него не обходится и ни одно существенное смеховое действие. (...) Пиришественные образы очень тесно переплетены с образами гротескного тела”(1, 308). “Они неразрывно связаны с праздником, со смеховыми действиями (...) со СЛОВОМ, с МУДРОЙ БЕСЕДОЙ, с ВЕСЕЛОЙ ИСТИНОЙ” (1, 310).

Тем самым эмигранты воспринимают западную систему питания как враждебную отечественной кулинарной, а также коммуникативной традиции, практически – отечественной культуре в целом, где якобы “труд и еда были коллективными; в них равно участвовало все общество. Эта коллективная еда, как завершающий момент коллективного же трудового процесса, – не биологический животный акт, а событие социальное” (1, 311). При этом в книге Бахтина о Рабле, как точно подметил М. Рыклин, “стирание персоналогического принципа было настолько полным, что любая форма индивидуализации предстает в ней как дьявольское начало (...) Сверхзадачей Бахтина (...) было ограничение, замыкание плана содержания “правильной речью”, в результате чего трансгрессия должна была стать внутриречевым явлением. Протест против террора 30-х годов выражается в этой работе в приписывании речи качества специфической благодности: став самостоятельной, речь оказывается бессильной перейти на тела. Террор знает только тела, речь же, напротив, вообще не знает тел” (8, 17–18). Отсюда возникает феномен публичных актов “речевого террора” – насыщенный проговаривания, риторического принужде-

ния к самоосознанию себя в метамасштабах НАРОДНОСТИ, которое опирается не на индивидуальную, а на коллективную форму идентичности. Выйти из зоны вербальной агрессии и насилия можно, по мнению эмигрантов, лишь путем уклонения от общественной речи как дискурса власти и перехода к речи собственной.

Как следствие сказанного, в нашей ситуации протест эмигрантов вызывает не только попытка заставить нас отказаться от своей традиционной кухни, но и стремление перенести процесс общения, сопровождающий процесс пищеварения, из сферы интимно-частной, приватной, в сферу публично-общественную, т. е. буквально из КУХНИ — в РЕСТОРАН. Ведь для эмигрантов (как “внешних”, так и “внутренних”) именно на кухнях, а не в ресторанах становилось возможным обретение своей собственной речи и становление своего самосознания. Здесь, в укрытых от чужих глаз и ушей тесных помещениях, и происходила социализация и самоидентификация тех, кто считал себя оппозиционером по отношению к советской власти. Отсюда и возникает у них вполне естественное стремление сохранить территорию своей коммуникативной компетенции и автономии, “где терпкие 60-е, ночные разговоры на кухне за чаем и вином восстановили “слово”, стершеся профанной речью тоталитарного газетного монолога” (В. Пацков) (цит. по: 6, 319).

Однако вернемся из прошлого в настоящее, от “фиг с маком” — к “Биг-Макам”. Поскольку технологию власти в данном случае являются не только кулинарными, но и коммуникативными, то они организуют внутреннее пространство “М” не только как сценическую площадку или анатомический театр (ПАНОПТИКУМ), где экспонируются различные индивидуальные тела, но и связывают их в процессе общения в отдельные коллективные тела (группы). Таким образом, власть в системе питания связана с системой РЕЧИ, и эта связь осуществляется посредством ТЕЛА. Те группы, которые для эмигрантов объединялись в советский период речью на кухнях, были телами индивидуализированными, МИКРОскопическими относительно глобальных МЕГАмасштабов государственной оптики (“речевого зрения”), в терминологии Рыкина и не улавливались властью. Это связано с тем, что “визуальное измерение в речевой культуре не проходит через фильтры индивидуализации. (...) Невидимость подобных тел обеспечивается доминированием в культуре тотального речевого зрения, которое способно видеть все при условии, что оно не видит ничего в отдельности, не замечает несводимости конкретных телесных проявлений” (8, 17). С этим также связан тот факт, что “каждая историческая формация видит и заставляет видеть лишь то, что она способна увидеть, будучи функцией собственных условий высказывания” (3, 86) и при этом “подразумевают перераспределение зримого и высказываемого, которое совершается по отношению к ней самой” (3, 73).

Введение маргинальных микрогрупп на авансцену публичной речи ставило под угрозу саму возможность их существования: они бы просто “растворились” в потоке пропаганды, бесследно исчезли среди лозунгов и штампов, поглощенные гиталемскими объемами коллективного тела страны в структуре ИДИО(МА)ТИЧЕСКОЙ общности — “советского народа”. Современная ситуация остается столь же неприемлемой для эмигрантов, поскольку отличается лишь перекодированием той же процедуры глобализации (универсализации) в масштабах тотального охвата

населения службой общепита<sup>с</sup> использованием риторической фигуры “массового потребителя”, в ориентации на запросы которого и проводится якобы вся гастрономическая и кулинарная политика. Но и в том, и в другом случае речевое тело остается телом коллективного субъекта и, хотя в советский период оно лишь ВЫГЛЯДЕЛО единым, составляющие его микрогруппы оставались невидимыми для власти; теперь же, в помещениях ресторанов, офисов, банков (где “М” — лишь частный случай), под ярким светом ламп и зорким оком видеокамер это метатело обна(ру)жило свою внутреннюю структуру, его элементы оказались вычленимы, отчетливо наблюдаемы и контролируемы.

В результате помещение ресторана превращается в операционную (недаром же здесь такая чистота), где “стриптиз со снятием кожи” открывает власти доступ к внутренним органам нашего тела, происходит оперативное вмешательство в организм и молниеносная операция по изменению пола: переход от “Ж” к “М” не может остаться безнаказанным. Такая весьма болезненная процедура проходит почти незаметно благодаря использованию пищи в качестве анестезии, активного болеутоляющего средства: власть, контролируя нас и переваривая в себе, в качестве компенсации делится с нами частью самой себя, одаривая нас ощущением нашего могущества над едой и речью, контроля над процессами говорения и пищеварения (хотя это не более чем иллюзия). Но она успешно выполняет свою легитимирующую функцию, поскольку, будучи разделенной среди всех посетителей “М”, способствует их сплочению в единую стаю — СЕМЬЮ, о чем свидетельствует и девиз “М” как “ресторана для всей семьи”. И тогда нельзя не вспомнить Э. Канетти, который считал, что подлинно семейная власть имеет склонность часто демонстрировать себя в зрелище семейного обеда.

“Любая прочно стоящая семейная власть часто демонстрирует себя в этой форме, а те, кто приходит на смену, стараются повторить и превзойти эти демонстрации” (4, 240). Ведь “самая интенсивная семейная жизнь там, где семья чаще всего ест вместе. Когда об этом подумаешь, перед глазами встает картина: родители и дети, собравшиеся за одним столом. Все остальное — лишь подготовка к этому моменту: чем чаще и регулярнее оно повторяется, тем более участники совместных трапез чувствуют себя семьей. Приглашение за такой стол равно принятию в семью” (4, 241). В то же время “твердой и стабильной семья оказывается в том случае, когда другие исключены из ее трапез; естественным поводом для исключения других выступает необходимость заботиться о своих близких” (4, 243).

Именно поэтому “современный человек любит есть в ресторане, за отдельным столиком, в своей компании, за которую и платит. Поскольку другие в ресторане делают то же самое, человек впадает в иллюзию, что еды достаточно всем вообще. Но даже самые тонкие натуры не питают эту иллюзию слишком долго: сытый спокойно перепахивает через голодного” (4, 243). Тем самым семья как ячейка ресторанный общины подарывает идейную основу “народности” и раскалывает утопию “соборного единства” общства. Требуя автономного существования в зале “М”, семья оказывается под угрозой ответных мер со стороны тех, кто оказался за бортом, по ту сторону стеклянного барьера и голодными глазами наблюдает за обитателями аквариума со стороны “Ж” как за потенциа-

ной пищей. Более того, семья (группа), сидящая за отдельным столиком, не только солидаризируется, но и конкурирует с соседними столиками, поскольку тот, кто ест, чувствует себя тяжелее (становится более весомым). "В этом есть что-то от похвалы: он не в состоянии больше расти, но прибавить он может прямо здесь, на глазах у всех. Это одна из причин, почему он ест вместе с другими: своего рода соревнование в самонаполнении. Удовлетворение от наполненности, когда больше есть невозможно, — это высший уровень, к которому стремятся" (4, 243). Это связано с тем, что "все, что съедается, является предметом власти. Голодный чувствует в себе незаполненное пространство. Неудобство, причиняемое ему этим пустым пространством, он преодолевает, заполняя его пищей. Чем он полнее, тем лучше себя чувствует" (4, 243).

Угроза тем самым может возникнуть не только снаружи, но и внутри общины, поскольку каждая семья стремится обеспечить только себя, урвав себе лучший кусок. В таких условиях приходится отказываться от архаической идиллии былых времен, когда было "неоспоримо определенное уважение по отношению друг к другу среди тех, кто ест вместе. Оно выражается прежде всего в том, что они делают пищу. Лежащее на общем блюде принадлежит ни всем. Каждый берет часть себе, каждый видит, что и другие взяли. Все старается быть справедливым, никто не берет себе слишком много..." (4, 240). Это было в ту далекую пору, когда люди в коммунальном единстве могли обходиться без речи, и достаточно было еды и питья, чтобы поддерживать жизнь этого "гротескного тела", особенности которого Бахтин видел в "его открытости, незавершенности, его взаимодействии с миром. Эти особенности в акте еды проявляются с полной наглядностью и конкретностью: тело выходит здесь за свои границы, оно глотает, поглощает, терзает мир, вбирает его в себя, обогащается и растет за его счет (...). Эта встреча с миром в акте еды была радостной и ликующей. Здесь человек торжествует над миром, он поглощал его, а не его поглощали..." (1, 310). Отсюда вывод: человек ест не потому, что он голоден (точнее, не только поэтому). Он ест, чтобы не съели его.

Именно поэтому взаимное уважение сотрапезников "означает так же, что они не будут есть друг друга. Хотя такая опасность всегда существует между людьми, живущими совместно в группе, в момент еды она наиболее заметна. Люди сидят вместе, люди обнажают зубы, люди едят, но даже в этот критический момент ни одному не приходит охота поправиться от другого. Каждый следит за собой, но следит и за другими, ибо все равно обязаны сдерживаться" (4, 241). Поэтому нужны не только крепкие зубы, чтобы кусать пищу, но и зоркие глаза, чтобы следить за тем, как бы не откусили от тебя самого.

Если же и открывать рот на другого, то лишь для того, чтобы поговорить с ним. Поэтому в наше время речь так же необходима, как и еда, и неразрывно с ней связана, хотя, по мнению того же Канетти, "современные манеры требуют есть с закрытым ртом. Даже легчайшая угроза, которая возникает при наивно открытом рте, тем самым сводится к минимуму. Однако наша безвредность не заходит слишком далеко. Мы едим ножом и вилкой, которые легко могут послужить для нападения" (4, 243). Предотвратить такую возможность и призвана служба безопасности "М", которая через видеоканеры следит за тем, чтобы в

ресторане мы могли говорить, но не есть друг друга. Поэтому вся обстановка, сервировка и даже упаковка в "М" подчинены требованиям безопасности даже в большей степени, чем пищеvarения.

Таким образом, технологическая организация пространства власти в "М" оформляет тела в виде семейной родства как микрогруппы, тем самым способствуя распаду "единой и дружной семьи" макроколлектива. Расчленив семью коллектива на группы семей, власть создает не просто пространство коммуникации, "дистанцию диалога", но и саму возможность говорить ПУБЛИЧНО. В пространстве коммуникативной компетенции "М" "речь идет не только о том, чтобы открывать вещи, чтобы стимулировать высказывания, и не только о том, чтобы открывать слова ради поддержания видимостей, но еще и о том, чтобы благодаря спонтанному характеру высказываний способствовать их размножению так, чтобы они детерминировали зримое до бесконечности" (3, 95).

Коммуникация здесь сменяет, как это ни парадоксально, саму коммунику — "гротескное" коллективное тело, которое в силу своего единства и цельности не нуждается в речи: оно только ест. Дистанция диалога есть зона непосредственной видимости: говорить — значит видеть, хотя "то, что вялят, никогда не размещается в том, что говорят" (3, 91). Обращаться с речью здесь можно к тому, кто уже не может скрыться, стать невидимым, ведь невидимым становится уже не тело группы (семьи), но эфемерный призрак народа. В итоге посетители "М" оказываются вовлечены в противоборство различных идеологий: национального самосознания, массовой культуры и семейной преемственности. Они должны сделать выбор между родиной и семьей, болтовней и слепотой, голодом и комфортом. Здесь торжествует принцип: "Кто не ест, тот против нас!", поэтому истинный патриот в "М" должен оставаться голодным. Ведь специально для него существует "Белоорусское бистро", куда он и должен "бистробистро" бежать, если не хочет ослепнуть, пожертвовав не только собственной речью, но и телом. "Индивидуальное тело становится идеально заменимым, синтетическим телом, а так как акт зрения относится только к нему, глаз должен быть принесен в жертву коллективным прозрением народа относительно самого себя" (8, 37). Это подтверждает скандальный случай, произошедший в одном из зарубежных филиалов "М": посетитель подавился булочкой Биг-Мака, а подоспевшая на помощь сотрудница персонала стала бить его по спине с такой силой, что у несчастного произошло отслоение сетчатки глаза и он потерял зрение...

## Литература

1. Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М., 1990.
2. Вайль П., Генис А. Русская кухня в изгнании. М., 1988.
3. Делез Ж. Фуко. М., 1988.
4. Канетти Э. Масса и власть. М., 1997.
5. Королев С. А. Днос в России. М., 1996.
6. Коритких Е. Черный театр аиштупов. М., 1990.
7. Левинтов А. Жратва. Социально-поваренная книга. Мн., 1997.
8. Рыклин М. Террорологии. Тарту; М., 1992.
9. Фуко М. Надирать и наказывать. Фрагменты из книги // Искусство кино, 1994. № 11.